

Русская власть: описания и рефлексии

ЕЩЁ РАЗ О ПРАВЕ КАК ПУТИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА РОССИИ

С.С. Неретина
 Институт философии РАН

Аннотация: *Анализируя историю ключевых политико-управленческих понятий — «государство», «федерация», «право», «министр», «администрация», «губернатор» и др. — автор выявляет эквивокальность этих терминов в Западной Европе и России. Так, если термин «управление» в истории Западной Европы был семантически связан с договорными отношениями, то есть с «правом» и «правильностью», то в России — с идеей захвата территорий, с «управой» и «правежом». Результатом исторического развития России оказалось доминирование волевого личного начала над началом представительным. По мнению автора, необходимо «очиститься от языка», навязывающего подобные смыслы и оказывающего влияние на политическую практику современной России.*

Ключевые слова: *М.К. Петров, концепт, эквивокальный метод, ментальность, демократия, право, управление, гражданское общество.*

То, что нынешняя Россия отличается даже от той, что была 10 лет назад, сейчас не понимает разве что ленивый и разве что ленивый об этом не говорит. Изменилась система передачи и усвоения знания, вернее, по нынешним стандартам образования — компетенций, появилось множество мелких и средних предприятий, которые называются венчурными, с неопределенным доходом, и многое другое. Слово «компетенция», недавно вызвавшее шок в профессионально-преподавательской вузовской среде, отменившее в свою пользу знание и произведенное от латинского глагола *competo*, что означает «добиваюсь, соответствую», означает способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач, это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной, это характеристика, определяющая соответствие сотрудника поставленным задачам, это требование к должности, выработанные компанией, которые служат основой для принятия управленческого решения при назначении на должность, отказе в этом или планировании карьеры сотрудника.

Это значит, что старое понятие знания, предполагающее (цитирую, по-моему, удачное его определение, данное в «Новой философской энциклопедии») «форму социальной и индивидуальной памяти, свернутую схему деятельности и общения, результат обозначения и осмысления объекта в процессе познания», становится ненужным. Нужно только то, что соответствует форме конкретной и непосредственной деятельности. Тем самым закрепляется некая профессиональная и дисциплинарная деятельность. Сама философия, за которой так и

не закрепилось название «строгой науки», должна изменить свое назначение быть охотой за мудростью, вовсе не являющейся одним из познавательных отсеков.

Все эти и другие изменения показывают, что вопрос в том, чтобы к сложившейся новой ситуации в государстве и обществе отнестись аналитически и понять, что открывшаяся перед нами перспектива предстает, на первый взгляд, как конгломерат самых разных концепций и конструкций, а с другой, налицо желание «схватить» это разнообразие в единое целое, правда, пока не ясно, на какой основе. Бросается в глаза желание сакрализировать некие властные функции, однако кроме раздражения и это атавистическое желание ничего не вызывает, ибо при очевидности сакрализующего воздействия на массы с помощью разнообразных приемов, налицо обнаруживающиеся просторы или зазоры, еще не сформированного, но дающего о себе знать мышления, в том числе политического. Это собственно и позволяет назвать наше время временем переходности, когда налицо множество возможностей. И все они на равных могут сформировать следующую целостность. Понимание этого состояния должно быть деятельно выраженным, то есть стать когитальным. Я намеренно употребила этот всем известный латинизированный (*cogito = cum+agito*) термин, чтобы подчеркнуть: дело — это сама мысль, или — мыследеятельность, собственно мышление. Правда, сейчас тоже только ленивому не ясно, что для мышления нужны не только внутренние, но и внешние вызовы, поскольку остается в силе максима: «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех»

Оглядываясь назад, мы, кажется, глубже поняли, что такое «железный занавес», скрывавший другую жизнь, иногда в диссидентских грезах представлявшуюся как юридический и социально-политический рай. Диссиденты были умными и мужественными людьми, а всё, что в то время в России ни делалось или ни предлагалось для малейшей реорганизации, подавлялось властями. Диссиденты поэтому обращались за помощью к «Западу», под которым чаще всего понимались сочувствующие этому движению писатели, известные общественные деятели, некоторые политики, даже лично президенты. Но, если вдуматься, то это другая перефразировка известных строк «вот приедет барин, барин нас рассудит». То, что мысль о невмешательстве во внутренние дела государства, и есть демократическая мысль, не застревала в головах, речь шла именно о том вмешательстве, которое сейчас раздражает.

Утопичность наших прежних обращений «к Западу» мы осознали едва ли не сразу, как только физически достигли его, руками прикоснувшись к твердыням прежних древних культур, тем более что «Запад», в отличие от России, «другим» становился постоянно. Уже первые (и деловые, и даже туристические) поездки показали, что многие процессы шли параллельно. Например, многие международные сообщества активно вторгаются в социально-политическую жизнь всех стран, в том числе и наших, активно ее меняя. И если экономическая сфера открыта не для всех, то социально-политическая в значительной части открыта.

Говоря о новых тенденциях России, мы не должны упускать из виду старые, потому что они сталкиваются лоб в лоб, достаточно сравнить ментальность жителей центральных городов, глубинки, деревень, не говоря уже о многочисленных национальных особенностях. Первое, что бросается в глаза любому неспециалисту во всех этих вопросах: образовательная смесь, на глазах развиваются разные рода «анти», прежде всего с национальным оттенком. Выражение «некто — человек нерусской национальности» сейчас стало нормативным: даже антишовинисты возмущаются — громко и шепотом, — что в магазинах, случается, не говорят по-русски. Объявления о желании нанять квартиры почти обязательно начинаются с того, что «русская семья без вредных привычек снимет квартиру...»

Государство (и это уже не только российская тенденция) сняло с себя прежде одно из важнейших обязательств: говорить на принятом государственном языке. Эту тенденцию, вызывающую некоторого рода ступор и обнаруживающую слом старых традиций, старого

мышления, изменения самых основ прежней *национальной* жизни, однако, можно рассмотреть позитивно. Не исключено, что та самая идея свободы, о которой много веков шли разнообразные философские споры, впервые осознана не только теоретиками, но *всеми* людьми как жизненная необходимость (заодно обнаруживая бесплодность философских исканий, медленно и с трудом внедряющихся в гущу жизни). Либерализация властных и медийных институтов, добровольное принятие на себя некоей необходимости взаимного сосуществования столкнулась с «диким горохом, растущим в поле» (перевод слова «свобода» с одного из языков Кавказа, как написано в одной из философских диссертаций) и — растерялась. Образовательная смесь происходит по разным причинам: а) вторжение Интернета с его хорошо освоенными языком и техникой, не подпитанными культурно-образовательным цензом, б) ликвидация паспортного режима, о чем раньше можно было только мечтать, приведшая одновременно к культурной, с одной стороны, пассивности жителей центральных областей, а с другой стороны — агрессивности тех, кого иногда называют «пришельцами». Сказанное, повторю, относится не к уничтожению или отвержению этого фактора, а к необходимости осознания огромных и разных семантических полей, не скорректированных и, скорее всего, в ближайшее время не могущих быть скорректированными, в условиях нового мультикультурного сосуществования. При этом, разумеется, стираются границы нравственности при полном отсутствии общеморальных принципов (новых принципов нет, а старые потерпели фиаско), грамотности и др. Прежний идеологический нажим сказался (не всегда осознанно) и на философско-теоретических исследованиях: они чаще всего касаются только поверхности (в этом смысле постмодернистская философия не случайно обрела себе активных сторонников в нашей стране) из-за нежелания идти вглубь. Это опять же, с одной стороны, является своеобразной страховкой от идеологии, с другой — действием фактора слабого образования, часто превращающего *исследование* в *изложение* некоторых устаревших и действительно никому, кроме автора этого исследования, не нужных концепций.

Отказ от идеологии, однако, часто принимает идеологическую окраску, например в тех случаях, когда практически наблюдается (осознанное или неосознанное) нежелание правильного ведения (любых) дел. В этом случае такое нежелание или неумение, усиленное амбициями, совмещается с демагогическими приемами. Это заметно особенно ярко потому, что сопровождается шумными кампаниями то по воспитанию якобы исчезнувшего патриотизма, то по выкорчевыванию фальсифицированных, с точки зрения непонятно кем инспирированных лиц, произведений истории, то по модернизации или инновациям. Поэтому необходимо проводить не только локальные, но комплексные социологические обследования разных групп населения, активно доводящиеся до широких слоев общества, не путаясь при этом с опереточностью разных телешоу, калькирующих опереточное же содержание с проводящихся политических акций. Называя современную политическую ситуацию «новым варварством» с безусловно негативным оттенком, мы не должны забывать, что варварство в свое время образовало новую Европу. Идея корпоративности, завладевшая современными теоретиками и бывшая одним из принципов устройства фашистских государств, да и нашего, советско-социалистического, потому и имеет такой успех, что мы сейчас оказались людьми с истерзанными телами и сгнившими словами, лишенными прежнего содержания и не нашедшими нового, но желающими эти тела собрать в одно целое. Однако я лично хорошо помню время, когда всех писателей пытались загнать в корпорацию Союза писателей, тех, кто претендовал на это право, но не «пролез» в Союз, — в группком литераторов, членом которого был Б.Л. Пастернак, архитекторов — в Союз архитекторов и пр. Эхом этого состояния откликается нынешний спор вокруг Союза кинематографистов. Удивительно, что Философское общество осталось на периферии существования философов, все-таки незримо срабатывало то обстоятельство, что основным принципом философствования является свобода.

Что нас поджидает и в известном смысле оскорбляет, помимо вышеперечисленного, в современной России? Раздражающая многих маникратия, (власть денег). Хотя эта власть сама по себе появилась не сейчас, и о ней писал Маркс как о математической мере, а еще раньше Николай Кузанский производил слово ум — *mens* от *mesurare* — измерять, у нас она расположилась на территории, где прежде господствовало царство равных и относительно бескорыстных людей (в силу того, что корысти было неоткуда возникнуть). Бандитская приватизация всех считавшихся при советской власти общими ресурсами страны привела к резкому расслоению: одни стали чрезмерно богаты, другие столь же чрезмерно бедны. При этом в отсутствие запретов на капитализацию и запрещающей частную собственность идеологии, в отсутствие вообще каких бы то ни было регулятивов в этом вопросе «денежный язык» банков, обмена, биржи, финансов быстро стал понимаемым языком. С 1991 г., отменившего СССР, выросло уже несколько поколений людей, когда никто уже толком не вдавался в существо приватизации, прекрасно выучивших этот язык и считающих наличие денег едва ли не равнозначным самой жизни. Как говорил Ж. Делез, чтобы купить что-нибудь у новозеландца, не надо знать его язык, достаточно достать «зеленые». Этот «денежный» ум, вероятно, не хуже любого другого, если заставил участвовать в валютных, банковских, финансовых операциях огромную армию людей, собирая их в корпорации, даже провоцируя неизбежность корпоративного начала, где все заодно, заставляя получать второе образование (как правило, экономическое или юридическое). Огромное количество Интернет-сайтов, посвященных теме корпораций, жесткие споры вокруг них, само наличие крупных газовых, нефтяных корпораций и таких объединений, как РОСНАНО, например, участие в международных соглашениях — все это свидетельствует о том, что мы вполне можем прогнозировать этот сценарий государственного развития. Более того, чем более его обсуждают, тем реальнее он становится даже для нашей российской действительности. Вот только на каком фундаменте это строится?

Нынешнюю возраст в 20 лет Российскую Федерацию нельзя, однако, назвать неоперившимся государством, потому что она, во-первых, сохранила старое название, выкинув из РСФСР буквы, скрывающие социалистическую нагруженность, а во-вторых, а скорее — в-наипервейших, — внутренне, семантически сохранила связь с Российской империей, в которой части ее имели разные статусы, в том числе и те, что можно назвать федеративными. Таковым статусом обладала, например, Башкирия, условием присоединения к России которой были сохранение за башкирами занимаемых ими земель, невмешательство в их религиозные обычаи, в целом во внутреннюю жизнь, оставив власть на местах в руках местных властей, были понижены размеры оброчных платежей, освобождены от сдачи на оброк некоторые угодья и т. д. Можно назвать и другие регионы, которые входили в империю на определенных условиях. Если иметь в виду это имперское состояние, то оно, во многом внешне мимикрировано под нечто иное, чем есть на деле. Это государство обладало и обладает необычайно сложной социально-политической и культурно-экономической структурой. Нынешний мир лишь внешне характеризуется властью толпы. Слово «внешне» не подразумевает здесь незначимость этой власти. Когда в 1937 г. поэт О.Э. Мандельштам сказал: «Я к смерти готов», это была не фигура речи, это было признание власти толпы. Но такой толпы, которая для проведения своих намерений требует лидера, вождя. Эти лидирующие персоны и являются нынешними правителями: Билл Гейтс, еще недавно Стив Джобс, руководители транснациональных компаний или корпораций, готовых стать государствами. Философы и политологи, занимающиеся специально анализом таких структур, уже издали тома своих исследований. Вопрос в том, как они влияют на состояние и подвижку властных структур, то есть в том, чтобы определить современную ментальность, вернее напряжение ментальностей — со стороны власть предержащих и со стороны власть ощущающих, универсалистских тен-

денций и становлением гибкого менеджмента, умело регулирующего информационными ресурсами общества и инновационными, под которыми понимается системная оптимизация, тесно связанная с развитием финансовых практик, внедрением опоры на право, с «собираанием» всех возможностей и открытий, произведенных в мире. В свое время (я много писала об этом, но сейчас не грех повторить) Амвросий Медиоланский, отвергавший культуру Древнего Рима, как связанную с традицией, утверждал христианские истины как именно как инновации, опору на Новое, потому что «Христос всегда нов». Эта мысль св. Амвросия хороша не только для религиозных людей, она выражает основу современного мира, не знающего про Амвросия и самостоятельно выдвинувшего идею инноваций. Это значит, что старая мысль вошла в современную на правах анонимно действующей силы, в данном случае и в данное время выражающей ее правильность, подчеркивающей если не опору на творчество человека, то опору на его творческую репродукцию.

Если, однако, учесть, что идея компетенции вместо знания властно, то есть сверху, прокладывает себе путь в массы (что является более массовым, чем учеба в школе?), то с инновациями может быть покончено, или это может также стать симулякром — формальностью, лишенной содержания. Более того, властная универсализация, допускающая некоторое количество частных компаний, значительно понижает уровень существования мелких частных собственников вплоть до их полного уничтожения, с чем, возможно, связано отсутствие проблемы собственности, поставленной в полной объеме и муссирование проблемы возвращения к государственной собственности.

Здесь, правда, возникает следующее соображение, высказанное Р. Дарендорфом, который различает конституционную политику и реальную политику: «Если вопросы поднимать на уровень конституционного вопроса, то в конце концов возникнет тотальная конституция, в которой не останется ничего, с чем нельзя было бы не согласиться, — тотальное общество, еще один тоталитаризм». Реальная же политика — та, которая способна «провести границу между правилами и принципами, которые имеют всеобщий регулятивный характер, и различными взглядами, которые можно отстаивать в рамках указанных принципов»¹. Этот принцип был выражен, однако, много раньше Платоном, который, рассуждая о необходимости правления с помощью закона, писал в «Законах», что «ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоит выше знания. *Не может разум быть чьим-либо послушным рабом*; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно *свободен*» (Законы. IX 875 с — d). Ибо закон, на его взгляд, предусматривает общее, что не соответствует определению человека. «Закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим» для каждого, и это ему предписать. Ведь несходство, существующее между людьми и между делами людей, а также и то, что ничто человеческое никогда не находится в покое, — все это не допускает однозначного проявления какого бы то ни было искусства в отношении всех людей и на все времена» (там же 204 b). *Закон*, по мысли Платона, *служит «самонадеянному, невежественному человеку, который никому ничего не позволяет делать без его приказа...»* (294 с). Заметим, однако, что речь идет о городе с населением в тысячу (1000) человек. Это надо знать тем, кто ссылается на абсолютную подчиненность праву в античных полисах. Закон Платон сравнивает с «всенародными упражнениями», например, в беге или гимнастике, а тренеры «не считают уместным вдаваться в тонкости, имея в виду каждого в отдельности... наоборот, они думают, что надо более грубо и приближенно давать наказания так, чтобы они в целом приносили пользу телам большей части людей» (294 е). Законодатели не могут дать закон каждому человеку в отдельности. Законы сейчас — в случае нужды — можно дать, потом — при отсутствии необходимости — отменить.

¹Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе // Путь. — 1994. — № 6.

Важно, чтобы они соответствовали жизненной нужде. В противном случае они могут вызвать только смех: владеющий своим искусством врач, может, конечно, *насильно* навязать пациенту лучшее лечение, но если «обнаруживается... погрешность» (297 d) или отсутствие необходимости (скажем, больной выздоровел раньше, чем врач предполагал, его нужно отменять. Рассуждение Платона указывает на свободу разума, но одновременно показывает, что свободно рассуждающий разум всегда ведет к погрешности, требующей правильного регулирования, — об этом говорит и Дарендорф двадцать четыре века спустя.

Процесс рождения нового мира, названного глобализацией, предполагает прохождение ряда ступеней, связанных с новыми государственными транснациональными корпорациями, подчас предполагающими культурно-исторически сложившиеся общности, а подчас их исключаящими, как и понятие национальной идентичности, настолько поглотил воображение современных людей самого разного образовательного уровня и профессиональной деятельности, что вопрос о национальной идентичности не просто стал актуальным, но едва ли не главной проблемой современности: не счесть семинаров, симпозиумов и конференций, посвященных обсуждению этого вопроса. Представить, что вскоре некое государство будет территориально разобщенным и на карте будет одно и то же цветное пятно, расположенное в разных частях мира, трудно, поскольку это напоминает разобранность на разные части самого человека, о чем в свое время писал император-философ Марк Аврелий. «Видал ты когда-нибудь отрубленную руку, или ногу, или отрезанную голову, лежащую где-то в стороне от остального тела? Таким делает себя — в меру собственных сил — тот, кто не желает происходящего и *сам же себя отщепляет, или творит что-нибудь, противное общности*. Вот и лежишь ты где-нибудь в стороне от природного единения, ты, который родился как часть его, а теперь сам себя отрубил». Эта разобранность ведет к конфликтам, которые выражаются или в вооруженных конфликтах, или в беседах, диалоге, переговорах в соответствии с правилами вежливости и с открытой аргументацией. Император-воин Марк, разумеется, предпочитает мирный исход конфликта, ставя акцент на одной присущей только человеку особенности: «Но вот в чем здесь тонкость; можно тебе воссоединиться снова. *Этого бог не позволил никакой другой части*, чтобы сперва отделиться и отсечься, а потом сойтись. Ты посмотри, как это хорошо он почтил человека: дал ему власть вовсе не порывать с целым, а если порвет, то дал прийти обратно, срастись и снова стать частью целого»². В этом отрывке главным является не столько утверждение целого, сколько «вовсе не порывает», то есть не устанавливает полное целое, а предполагает «много неправильного и неаккуратного, много беспорядка и разнообразия, конфликтов и быстро меняющихся ситуаций, — всего того, что лишь способствует расцвету жизненных возможностей человека, а с ними и самого человека»³, но в своей неправильности эту правильность имеет как регулятивную идею. В противном случае абсолютная правильность будет иметь тоталитарный импульс, как об этом писал в «Дороге к рабству» А. Хайек.

Разрушение той индустриальной базы (сейчас не обсуждается — плохой или хорошей), происшедшей в России в 80-е — 90-е годы, привело к приостановке производства даже при восстановлении производственных мощностей, поскольку ушло поколение рабочих, способных передать мастерство, скажем, заточки деталей, молодому поколению. Поэтому разговор об индустрии сейчас, в эпоху постиндустриального производства, нанотехнологий и пр. действительно лишен смысла и поддерживается лишь в той замечательной части общества, которая продолжает осуществлять связь старого и нового, вопреки всему, совершая каждодневно подвиг, рискуя, как в свое время П. Рикёр, оказаться с мусорной корзинкой на голове.

²Там же. — С. 46

³Там же. — С. 38.

Мы по-прежнему, как и после революции 1917 г., считаем, что можно сразу перейти к корпоративной системе, ментально не обучившись тому, что такое вообще производство. Поэтому, разумеется, нужна наука, способная правильно диагностировать силу, жизнеспособность, исправность источника жизненных сил общества и его единокровие, которое нельзя путать с единомыслием. В известном смысле нужно восстанавливать или создавать грамматику общения, чтобы синхронизировать идеи, мысли, поступки, деяния людей, принадлежащих разным временам, разным культурным сетям, разным образовательным слоям, когда понималось бы, что для правильного функционирования общества человек должен создавать себе современников из, как говорил тот же Розеншток-Жюсси, «разновременников» посредством речи (чтения Гомера или Шекспира). Нам нужно бы хотя бы теоретически (практически это вряд ли получится) и вербально прожить ту постиндустриальную жизнь, лишенцами которой мы оказались.

Речевые проблемы как проблемы государственного управления возникли — и вполне осознанно — начиная с Древней Греции, когда собственно и возникла сфера политического, с эпохи Древнего Рима, а затем, на новой обширной, будущей европейской территории начиная с XIII в., когда возникали сословные конфликты, связанные с достижением определенных свобод и преобразования аппарата власти. В Англии это случилось в 1215 г., когда была принята Великая хартия вольностей, во Франции — в 1356 — 1358 гг., когда третье, бюргерское сословие потребовало равных прав с дворянством и духовенством в управлении страной. Именно тогда вербально были поставлены вопросы, что именно есть управление (администрирование) и что такое тот, кто управляет. В то время никто не сомневался в сакральных функциях королевской власти. В то время вообще нельзя было говорить просто «король». Надо было говорить или «король милостью Божией», или Сеньор (Лорд, Монсеньор, Мессир, Сир). Теократическая функция короля была диаметрально противоположна феодально-сеньориальной. Если рассматривать только теократическую функцию, то лишь *воля* короля во всем имела значение. Но как феодальный сеньор он был связан *договорными* отношениями, и в этой функции он не мог быть над королевством, поскольку сам являлся членом этого общества. Широкий частный характер феодальных отношений стал средством действия публичного права, способствуя возникновению парламента — места, где говорят. Это не замедлило сказаться в требованиях третьего — бюргерского — сословия в Парижских событиях 1356 — 1358 гг., когда возникло плачевно закончившееся движение Этьена Марселя за равенство сословий и когда впервые после Рима было произнесено слово «республика», когда возникло требование свободы и стало было «ходить» слово «конфедерация», которое убрали с глаз долой после провала движения.

То, что в то время *вдруг* вспомнили о типах политических образований, о демократии, тирании, монархии, аристократии, свидетельствует о том, что после Рима, древнего Рима Цезаря, Цицерона, Октавиана Августа и пр., *не возникало проблем в названии территориальных объединений*, называть ли их демократиями, тираниями, деспотиями и пр. Это были территории племен, природных этносов, осевших в будущих европейских землях и называвшихся по именам этих племен, по титулам властителей, по образованиям. Если король — королевством, герцог — герцогством, если во главе купцы — купеческим общим делом, или республикой, если союз вольных городов — конфедерацией. Вспомнил о старых видах народных объединений не кто иной, как Фома Аквинский, который через 70 лет после смерти будет признан официальным наставником всех христиан-католиков, в наставлении юному королю Кипра. И произнес он старые названия типов управления, потому что они прозвучали как *новые*, то есть вот сейчас востребованные. До этого с детства знакомые нам названия представителей власти и самой власти, такие, как «министр» (minister), «администрация» («administration»), «губернатор» («gubernator») означали соответственно 1. «слуга», «подруч-

ный», «помощник», «служитель», в том числе и «служитель церкви», то есть «священник», 2. «служение» и «оказывание помощи», «руководство» в значении умелого знания, 3. «кормчий» («управляющий кораблем»), «возница» («управляющий колесницей»). Так именно о значении слова «губернатор» писал Бозций (V — VI в.), но то же спустя шесть веков повторил Петр Абеляр. Еще через два века слово «gouverner» стало означать «управиться» и в смысле «пройти», и в смысле «кормиться», и в смысле «находиться на содержании», «вести себя», даже «разговаривать». Это значит, что в то время слова эти не употреблялись в том значении, в каком употребляются сейчас. От старого значения слова «министр» осталось разве что ироническое именование его как слуги народа, а к губернатору прочно прилипло значение руководства и без умения и знания. То же и со словом «гех», «повелитель», тесно связанным с *ges*-вещью, *geus*-ответчиком, *обвиняемым* и *ratio* — разумом и смыслом. В основании властных терминов латинского мира лежит, таким образом, разум. Есть еще термин «*potestas*», «власть», производный от «*posse*», «мочь», и это было связано с правами правомочной личности. В основании властных терминов российского (русского) мира лежит цезаризм (царизм), позднее понятие, родом из XV в., когда Москва принимает на себя функции Третьего Рима.

Такой разброс значений был тесно связан с тем, что в то время было названо эквивокальностью, дву-о-смысленностью и двухголосостью не только значений слов, но самого мира: Божественного и человеческого, в котором при его описании одно и то же слово могло иметь и мирской, и сакральный смысл (например, слово «гех» означало повелителя и небесного и земного) или указывать на разные проявления одной и той же вещи. Поэтому в средневековые времена вообще нельзя было говорить просто «король». Надо было говорить или «король милостью Божией», или сеньор (лорд, монсеньор, мессир, сир). Теократическая функция короля была диаметрально противоположна феодально-сеньориальной. Если рассматривать только теократическую функцию, то лишь воля короля во всем имела значение. Но как феодальный сеньор он был связан договорными отношениями, и в этой функции быть над королевством он не мог, поскольку был сам членом этого общества. Широкий частный характер феодальных отношений стал сферой действия публичного права. Но это было осознано через четырнадцать веков существования христианства в Западной Европе, которая, напомним, еще не была Западной Европой, — в требованиях третьего — бюргерского — сословия в событиях 1356 — 1358 годов, когда двойственное понимание мира сплюсилось до единогласия, унивокации, в котором слышится униформация. Между тем эквивокальное напряжение, уже в наше время забытое (часто студенты не знают слова «экивок», которое знало все послевоенное поколение, читавшее, к примеру, Мопассана), интеллектуально не освоенное, составляла и составляет общественное напряжение: старые сохранившиеся теократические функции правителя по-прежнему ведут к «светлому будущему» (я не уточняю содержания этого будущего) через кровавые революции, потому что, руководствуясь идеей счастья всех, они попирают права индивида, а вторая договорная функция, заключавшаяся в прежних феодальных отношениях, закрепляющая индивидуальные права, — путем эволюции.

Казалось бы, зачем вспоминать для кого-то до сих пор остающееся темным Средневековье в XXI в.? Но ведь слово «конфедерация», как соответственно и «федерация», не только живо, но является образующим в целостности многие народы. А оно, между тем, цепко связано со знакомым только по школе словом «феод», которое после школы прочно забывается, как связанное именно с мрачным Средневековьем. Слово «феод» между тем как бы невидимо всплывает то тут, то там и не только в связи с федерациями (в этой связи о нем и не помнят), но в связи с необходимостью для любого политически крепкого объединения устанавливать межличностные отношения, межличностные договоры, там, в феодах, и возникшие.

Неопознанная ни теоретически, ни методологически эквивокальность, однако, с успехом применяется, как и при феодализме, в современной постимперской России, пытающейся показать, что в ней что-то изменилось, но так, что это изменение не порывает связи с традицией. Дву-о-смысленное название «суверенная демократия» сохраняет связь с неизжитым феодализмом, как и «федерация», не меньше, чем с современными статусами либерально организованных западных государств. Эквивокальный метод, сейчас прочно забытый среди почти всех образованных слоев населения, однако возрождается и в логике, и в практике. О.И. Генисаретский, например, насчитал шесть видов федерализма, и если их рассмотреть, то можно найти и традиционно феодальные федерации и современно-либеральные: 1) расширенный, эмпирико-морфологический федерализм, 2) функциональный федерализм, 3) ресурсный, 4) цивилизационный, 5) идентитарный, 6) экзистенциально-антропологический.

Все шесть представленных им типов федерализма прочно зависят друг от друга, отражаются друг в друге и, несмотря на то, что в отдельных странах может перевешивать что-то одно, подразумевает один другой. Да и Генисаретский говорит о федерализме, обозначая государственность как таковую, переходя от него к корпоративному правопониманию государственности. Мы выше говорили несколько об ином: о необходимости формировать само мышление в духе тропо-логики — возможности видеть и поворачивать разные смыслы, умения регулировать и синхронизировать их.

Все это, однако, не только теоретическое размышление, но реальное существование, о котором вряд ли догадывается обыватель, которого никто не только в типах федерализма не просвещает, но и в Уголовном кодексе, применяя однако правило «незнание не оправдывает» и заглушая попытку к знанию компетенциями (что к ним не относится, не обязательно), покоится на привычном силовом способе управления. Поэтому проблема того, как сейчас понимается «управление», сродни той, когда впервые вообще возник вопрос об управлении. Один из самых блестящих философов XX в. Мишель Фуко в конце семидесятых годов XX в. стал читать лекции в Коллеж де Франс по истории систем мысли. Для него одной из корневых проблем XX в. стало изучение «зыбкой, туманной области, выражаемую таким <...> искусственным понятием, как „управленчество“»⁴. Этот вопрос он ставил в связи с религиозно (христиански) ориентированным обществом. Но вопрос этот сейчас стоит как нельзя более остро не теоретически, а практически. Мы по-прежнему испытываем диктат со стороны власти, в отличие от прежних лет происходящий с полным неуважением не к правам человека (сами эти слова стали хорошей ширмой для властных структур), а вообще к человеку. О том, что человек — хотя и смертное, но все же разумное живое существо, мало кто вспоминает. Хотя оказалось живуче представление, выраженное в старом хеттском гимне: это существо в отличие от всех других животных говорит ртом.

И все же, поскольку мы размышляем о нашем обществе вопреки правящему неуважению к нам, насмешки над нами, мне кажется, что термин «управление», сама необходимость «управлять» должны быть если не сняты с повестки дня, то строго проанализированы. Вряд ли нужно полностью отказываться от термина «управление», но необходимо показать то семантическое — огромное — поле, в котором он действует. Нынешнее его главное значение — «помыкать» — стало обыденным пониманием. Кроме того, оно связано не только с «правом», «правильностью», но у нас прежде всего с «управой» и «правежом». Этим оно отличается от «говорения», стояния у кормила власти и пр., о чем мы говорили выше. Нужно очиститься от языка, который навязывает такие смыслы, хотя, повторю, в обширном семантиче-

⁴Фуко М. Безопасность, территория, население. — СПб.: 2011. — С. 173.

ском поле есть и это значение, но и значение проектирования действительности или образа этой действительности.

Наш язык в себе заложил уже всё. Вся наша история в нашей речи. И если диалектику мы учили не по Гегелю, а по бряцанию боев, то демократии не учились никак. Для нас это пустое слово, сопряженное с другими словами, содержание которых мы понимаем плохо, но делаем вид, что понимаем. Когда в 1989 г. возникла возможность демократии (как говорил Карякин: вот-вот все будет, вот-вот все будет хорошо), она не смогла даже как-то устоять, потому что ни опыта ее не было, ни мало-мальски серьезного обсуждения. Слова «Дума не место для дискуссий» появились не случайно: у нас нет и не было практики обговаривания, то есть — в переводе — парламента, которая в западноевропейских странах заняла не одно столетие. У нас нет такого времени! Мы что-то должны делать быстро методом проб и ошибок. Но едва мы задаем вопрос, каким образом власть должна чувствовать общество, как возникает мысль, что главное здесь не общество, главной остается власть, которая что захочет, то и наворотит.

На мой взгляд, нужен радикальный переход от вертикали на горизонтальные схемы координации разного рода усилий (корпораций ли, гуманитарных, естественнонаучных, экономических, политических институций и др.). Они могут вполне координироваться экспертными группами. Это необходимо. Экспертные группы будут не обслуживать чью-то волю, а знать суть дела. Меня лично швейцарская ситуация, в которой гражданин швейцарского кантона не знает, кто у них президент, устраивает гораздо больше, чем бесконечное склонение в разных падежах и залогах одних и тех же хорошо известных имен. Это и есть работа с экспертными горизонтальными группами. Это можно назвать административной корреляцией, если бы слово «администрация» не было столь скомпрометировано. Нам жестко не хватает не чиновников, а бюрократии! Необходимо исследовать ту ситуацию, которая была в XVII в. во Франции, когда складывалась бюрократия. Это было бы очень интересно не с точки зрения истории, а с точки зрения процедуры складывания подобного рода вещей, когда можно было без «короля-солнца» решать многие внутренние вопросы. Реально сейчас этим никто не занимается.

Сейчас вполне допустимы анархистские представления об устарелости самого понятия власти, основанной на подавлении таких форм самоорганизации населения, как вольные города типа Новгорода и Пскова, которые были конкурентоспособны жесткой абсолютной самодержавной власти и на устройении не способных к такой конкуренции фактически закрепощенных ремесленных предприятий и сельских общин. Термин «управление», в том виде, в каком он сложился в нашей стране, был тесно связан с идеей захвата территорий, земли, с идеей овладевающей личной силы. Культ личности родился не в XX в., а гораздо раньше, с началом христианской эры. В XX в. он лишь привел при физическом появлении масс народа к гипертрофированному идеалу вождизма: массы, повторим, должен вести лидер. Когда мы сейчас все чаще и чаще ведем речь о том, что старые государственные системы отжили свое и переживают сильнейший кризис, то, как и тридцать — сорок лет назад оглядываемся на Запад, призываем к себе его идеи, как когда-то варягов, при этом словно забывая, что мы перескакиваем очень важный свой опыт — монголо-татарское иго, византизм и неиндустриальная жизнь, но вопреки этому знанию полагая, что справимся с новыми задачами.

Между тем прошедший опыт — не отчет, с которым надо ознакомиться, это опыт, сосредоточенно сжатый в понятии, равно как все бесчисленные его обсуждения и отрицания. Наша мысль, обусловленная таким разрушительным опытом, делается безусловной, коль скоро именно она подвергается подчас сокрушительной критике. Оглядываемся же мы сейчас и примериваем к себе идею корпоративного управления, забывая и не придавая значения тому, что хотим одну *власть* заместить другой *властью*. То есть одну *волю* заместить дру-

гой, но тоже *волей* с человеческим ли лицом или без оногo. Как правило, в конечном результате, воля становится нечеловеческой. М. Фуко, критикуя либеральные определения власти как *средства* принуждения, не просто описал *аппарат* репрессивных практик, применяемых властью, но *сущность* власти, представляющей собой взаимодействие разных сил. Это не статичное образование и не устойчивая структура, которую можно было бы определить юридически. «Государственное искусство, — как писала Х. Арендт, — надо приравнивать не к создающим, а к исполнительским искусствам» кормчего, врача, танцора, флейтиста, то есть власть не должна быть сама по себе средством принуждения, она «исчерпывается в исполнении и таким образом подобно поступку и речи состоит в актуальности самого действия. <...> В этой *столь глубоко презираемой современным социумом виртуозности*, в „непроизводительных“ искусствах флейтиста, танцора или актера античная мысль нашла некогда примеры и иллюстрации для описания высших и величайших возможностей человека»⁵. Что после этого удивляться, что такой шумный успех имеет сегодня шоу-бизнес! И надо ли сомневаться, почему не устраивает сегодня *наши* термин «управление», поскольку в нем, хотя и присутствует идея отождествления с другими, но гораздо больше — отчуждения друг от друга в силу несовпадения интересов «всех» и государства, в силу того, что в управлении заложена идея принуждения, а не свободного следования общим интересам. «Омертвление пространства явленности и следующее затем помрачение здравого смысла, органа, в нем ориентирующего»⁶, то есть то, с чем мы сейчас имеем дело, принимает в социуме экстремальные формы. Пережив эпоху отождествления-отчуждения и ужаснувшись ей, мы именно сейчас почему-то запаздывающим осознанием пытаемся говорить о такого рода идентификациях. Массовое общество признает вождя — с этим надо считаться. Вожди во всем: в музыке, главным образом, эстрадной, в политике. Причем в отличие от Средневековья, где признавалось мастерство, от Возрождения, где гений воплощал в себе человеческое величие, сейчас вождь, глава, тот, на кого ориентируются, вовсе не является таким воплощением, само понятие величия, как говорила Арендт, «испаряется». Вождь-глава — тот, кто успешно коммерциализируется. Потому эстрада стала называться шоу-бизнесом, а люди, сделавшие малую малость, например, применившие крем-маску, гордятся собой («до этого может опуститься только пошлость»), став «рабами и пленниками собственных способностей»⁷.

В эпоху компьютера можно учиться на расстоянии, имея в качестве посредника экран, уничтожающий разносный тон и выполняющий корректирующую и регулирующую функцию. Термин «урегулирование», вроде бы — при переводе — обозначающий то же, что управление, обладает другим содержанием: он предполагает некую норму, вынесенную во вне, которой подчиняется и правитель. Это, кстати, подразумевает и слово «корпоральность», такая «телесная» представленность многих, которые, являясь единым телом, тем самым урегулированы и отрегулированы как единство, где каждый выполняет свою ответственную ему работу, помогая и не мешая другим. Вопрос в том, что понимать под единством. Хорошо, если «свободное развитие каждого при условии свободного развития всех». Но ведь единство создается и в тюрьме, казармах, раньше и в школах, где все ходили на перемене парами, держась за руки. Как поется в фильме «Стиляги»: мы все связаны одной цепью.

Цепь, однако, не елочное украшение. Она и есть образ человеческой жизни, данный лучшей философией в мире, к которой нас иногда приглашают вернуться как к опыту по-

⁵Арендт Х. *Vita activa, или о Деятельной жизни*. — Пер. с нем. и англ. В.В. Библихина. СПб.: 2000. О «Политике» Платона, Аристотеля, о понимании *res publica* в Древнем Риме см. также: Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепты политической культуры. — М.: 2011.

⁶Арендт Х. *Vita activa, или о Деятельной жизни*. — С. 277.

⁷См.: там же. — С. 280.

чему-то открытости и несвязанности. Какая-то цепная открытость получается, принявшая в философии форму «универсально-понятийного» анализа мира в отличие от именного (первобытного) и профессионально-именного (индийского, китайского), что блестяще описано М.К. Петровым в книге «Язык, знак, культура» (М., 1991). Мы в этой универсальности и понятийности закрепились надолго, так что заново пришлось открывать простое понимание, простое действие, интуицию, лежащие за пределами Единого Логоса.

Государство

Сейчас под единством понимается сплоченность в некую коллективность при общности идеологических лозунгов. Это закреплено в слове «государство», понятие и понимание которого не исследуется или исследуется мало. Мы как-то так употребляем: государство и государство, даже к state применяем этот термин. Мы «подстраиваем» под собственное словоупотребление и другие названия. Когда мы говорим «Соединенные Штаты» и прибавляем к этому «государство» — это значит, что мы не понимаем принципов устройства Штатов, меж тем как само слово это «state» означает «состояние», «положение», «статус», смысл которого может меняться в зависимости от деловых, социальных, политических, экономических отношений. (Это, кстати, тесно связано с понятием «положение дел», которое было введено в стародавние времена Петром Абеляром, затем реанимировано Расселом и использовано Витгенштейном. Философия достаточно влияет на социально-политическое устройство: лабильным переопределением своих функций). Между тем термин «государство» означает даже не «kingdom», и не многие европейские страны величают себя так. Именно величают, потому что даже если государь (царь, король) в этих странах и есть, он, как правило, в качестве короля доказывает только величавость страны, но не ее величие. Русское слово «государство», среди значений которого мы подразумеваем слово «царство» («царство-государство»), на деле сохранило не только монархический смысл единства⁸, но включило в себя и смысл цезаризма (царизма), то есть диктатуры. Старый, даже не от советских времен идущий империалистский (универсалистский) характер так понимаемого государства, живущего в ментальности именно как царственно-монархический принцип (не случайно, то и дело возникают мотивы восстановления монархии в России), и сейчас диктует свои условия, прежде всего воссоздания полицейско-бюрократической системы жизни. Это уже стало общим местом: съездив на современный Запад, подметить там черты, близкие нам, такие, как антураж вокруг съездов партий, вмешательство в международные дела, доносы соседей на соседей, студентов на своих товарищей, обсуждения дел и коллег, похожие на наши комсомольские собрания, в университетах. Заметить, что вот-де это общие с нами черты и думать: все, как у нас, не замечая другого: открытого общества, о котором писали К. Поппер и Р. Дарендорф, и пытаюсь кое-где и кое-как подстроиться под очевидные лежащие на поверхности схемы. Однако, если изначально говорить о каком-то наборе понятий, то, вероятно, стоит начинать с критики, очищающей проблему. Убрать, например, из лексики слово «государство», слово «управлять», понять не потому, что они плохие, а чтобы дать волю другим понятиям, похожим, но не связанным с царственной властью: регулирование, менеджмент. Тогда и «управление», и «государство» окажутся одними из терминов в широком семантическом поле. Ясно, что я говорю исключительно о нашей весьма подмоченной репутации единого территориального устройства, где фактически задушено множество иначе организующихся и самоорганизующихся вещей. Я совершенно уверена, что, предложи тем же СМИ провести такой эксперимент — не употреблять в течение недели этих слов, и мы обнаружим множе-

⁸Я писала об идее монархии в статье о Данте. См.: Неретина С.С. Канцона как средоточие философии Данте // Вестник Самарской гуманитарной академии. Вып.: Философия. Филология. — № 1. — 2006.

ство новых и более точных именовании. Можно вспомнить, что в свое время С. Кьеркегор, критикуя гегелевскую идею государства, противопоставил ему сообщество индивидов. Потому я не случайно начала обсуждение проблемы с идеи речи. Мы сейчас не столько пытаемся понять новую реальность (а она есть, мы видим это по нарушению, даже разрушению межпоколенческих контактов), сколько своей суверенной демократией подстраиваем себя к старому миру, организуясь не вокруг целей, а вокруг «отсутствия целей» (целей, нигилистически понятых).

Стало общим и плоским местом повторять фразу, что история нас якобы ничему не учит. Когда римляне создали этот афоризм («история — учитель жизни»), они сконцентрировали в нем глубинное понимание того, что история нас настигает, встает возражением современности, и уже в силу того, что она стоит как возражение, ее не обойти. Римляне были афористичны. Мы сказочно-нарративны. У нас есть сказка «Гуси-лебеди», смысл которой в том, что нельзя, невозможно выйти на простор недостижимости, если не съешь старого пирожка, не отведаешь яблока (от древа познания) и пр. И вопреки этой сказке, мы, Россия — страна, которая правила не сама по себе, а через чужаков, варягов. В истории было множество прецедентов, связанных с захватами территорий и насаждением другой власти. Достаточно напомнить трагическую историю Рима, захвата франками галлов. В средневековой Франции мятежи «меньших» людей, в основном крестьян, часто связывались с этим захватом: «меньшие» люди так и считали, что франки овладели всей собственностью галлов. В литературе на это обращают мало внимания, лишь в начале XX в. робко заговаривали об этом при переводе драмы П. Мериме «Жакерия».

На Руси было иначе: варяги не захватывали Русь, они были призваны во власть *доброй волей* князей, хотя приглашение других людей для создания законов или принятие образцов для них из чужих стран было делом банальным: критские законы Миноса, например, были образцом для Спарты. Но право бывает естественным и позитивным, установленным. Не знать можно установленное право, естественного права не знать нельзя: это любовь к родителям, как говорится, к отеческим богам, неприкосновенность жилища, всего *моего*, что отстает при необходимости позитивным правом. Как происходила переориентация права между призванием варягов и вплоть до современности? — дело историков разобраться с этим. Но совершенно очевидно, что государству (когда-то личному — оно персонифицировалось именем царя, а теперь безличному, поскольку президент и государственные чиновники говорят от имени закона) было отдано право полного распоряжения *моим*, передоверенным чужому. Поэтому вопрос о соотношении российской власти и общества (при наличии старых понятий управления, государства, власти) — это пустой вопрос: в нем можно двигаться только в рамках старой властной парадигмы. Мысль В.К. Кантора о русском *европейце*, на мой взгляд, неверная мысль. Можно сколько угодно рассуждать о праве и либерализме и не уметь их отстоять и упрочить. Мы к тому же чувствуем власть абсолютно, но столь же абсолютно не чувствуем общества. Мы не случайно говорим так много о власти. Мы ругаем власть, но не ругаем безвольного и несостоявшегося общества, присвоившего себе это имя, потому что первая есть, а второго нет. Или, скажем иначе, были некие сообщества как жесткий противовес власти, но не было общества рядом с властью. Это привело не к изначальному отсутствию естественного права, а к его переподчинению позитивному праву, то есть переподчинению по сути запрещающим правилам, ответственности. Оттуда пошло понятие правоответственности, в котором акцент падает на вторую часть сложного слова. История задним числом показала свой учительский смысл — *возражением* тому, что стало и есть.

П. Бурдьё писал, что во Франции XVIII в. в предреволюционные годы при Людовике XVI была попытка создать независимую от монарха судебную систему, действующую во

имя не монархии, а во имя общего блага. Юристы выдвинули на первое место служение обществу, а не государю. Именно тогда вновь возникло понятие *res publica* в старом римском смысле слова как общего дела, цементирующего общество, и лишь потом республика стала «кинстанцией, трансцендентной по отношению к агентам (включая короля), временно ее воплощающим»⁹. Но вот оказалось, что «тот слой „третьего сословия“, который, восприняв идеи просветителей, стал сначала парламентскими представителями народа, а затем „вождями народа“, был слоем среднего и низшего чиновничества, юристов, нотариусов, судей, адвокатов. В Учредительном собрании 373 из 577 делегатов „третьего сословия“ были представителями так называемого юридического сословия. Именно эта группа и стала идеологами революции, ее трибунами и вместе с тем ее жертвами»¹⁰. Последнее произошло потому, что, наряду с апологией науки, в предреволюционные годы развивалась критика науки, представленная прежде всего Ж.-Ж. Руссо. Эта контрнаучная линия выразилась не только в публицистике, но «в различного рода мистических сектах и движениях и, конечно же, в плебейской ярости против существовавших к началу революции научных организаций».

Для всех идеологов эгалитаризма ученые были привилегированным сословием, а существовавшие в дореволюционной Франции научные учреждения — Академия наук, королевский колледж, школа военных инженеров в Мезьере, Парижская обсерватория и Королевский ботанический сад — защитниками деспотии и социального неравенства»¹¹. При этом было неважно, что число академиков, получавших жалованье, было невелико, и из 48 членов академии в начале XVIII в. половина искала приработку, но за ними прочно закреплялся статус ненужных людей, занятых причудами, поскольку исследования велись годами и не имели непосредственного применения на практике. Вера в тайные науки, в белую и черную магию, алхимию была сильнее научных доказательств, создавая «эпидемию мистического помешательства». Но и собственно просветительские идеи в массе народа существенно искажались, а в ходе революции упразднялись. Была отменена Конституция 1793 г., Декларация прав человека и гражданина, были упразднены свободы собраний, печати, слова, судебные гарантии и право на защиту, а затем и вовсе принят декрет о врагах народа.

Очевидно, что власть может быть захвачена разными способами, в том числе и легальными. Но любой *захват*, ведущий к *перевороту принципов прежнего правления*, лишает прежде всего прежние уставы законодательной базы, попросту отменяя ее и (пока не выработала своей, а на это должны уйти годы) действует с помощью старого или нового репрессивного аппарата: власть ведь надо удержать в руках. Способом такого удержания оказывается террор, откровенный или скрытый, но, как правило, направленный против самих организаторов революционного переворота. Ссылаясь на исследования Д. Грира, Огурцов пишет: «85% казненных принадлежала третьему сословию, к дворянам — лишь 8%»¹². Я бы хотела обратить внимание на эти цифры: вопреки, казалось бы, очевидной ненависти к своим врагам: дворянству и духовенству, вопреки написанному в учебниках под нож гильотины попадало в основном сословие зачинщиков революции. Ученые, тоже в основном принадлежавшие к третьему сословию, попадали под него первыми еще и потому, что обладали абсолютной незащищенностью: даже работая при дворе, они были всего лишь министрами, не владевшими силовыми рычагами, «свои» же попадали в силу конкуренции, в силу битвы за власть. Более того, так было во время всех народных движений, когда выплескивалась многолетняя, а то и многовековая накопленная ярость. Потому совсем не удивительно, что на каторгу или

⁹Bourdieu P. *Practical Reason*. — Cambridge (UK), 1998. — P. 43.

¹⁰Огурцов А.П. *Философия науки эпохи Просвещения*. — М.: 1993. — С. 204 — 205.

¹¹Там же. — С. 181.

¹²Там же. — С. 208.

к убийству приговариваются (и тогда, и сейчас) деятельные, но не обладающие властно-силовыми полномочиями люди.

Удивительно другое: мы все еще думаем, западное общество системно и вовлечены в конкуренцию систем. Однако мне кажется, что прав Дарендорф, когда писал, что «общий язык, на котором мы разговариваем сегодня, не является языком Запада, принятым Востоком», даже если мы все говорим по-английски. «Это по сути дела универсальный язык, не принадлежащий никому в отдельности и потому принадлежащий всем»¹³. К тому же Россия — двуликий Янус, она смотрит то на Запад, то на Восток.

Сейчас как никогда важны размышления М.К. Петрова о разных типах социального кодирования. Когда-то он писал, что в Европе, где возник универсально-понятийный код мысли, сохранился и профессионально-именной, то есть массовое программирование индивидов в одно имя, обозначающее профессию (как правило, это — семейное дело), свойственное традиционным обществам Востока (Индии, Китаю, Японии). Эти имена, с одной стороны, программируют в деятельность не одного, а многих индивидов, а, с другой — приводят деятельность массы профессионально программируемых людей как фрагмент целого к самому целому — корпусу социально необходимой деятельности. Это вполне соответствует и тому, что выше написано о компетенции, которая и есть некая программа деятельности, и корпускулярному строению этой деятельности. И если и сейчас на Западе сохраняются социально значимые и подлежащие трансляции понятия «талант», «уникальность», «оригинальность», «автор», «плагиат» (эти «нестандартные» ситуации обеспечивали общественно-культурные программы XVII — XX вв.), то сейчас, наряду с этим, осознается значимость ввода в дисциплинированную профессию. Вопреки общепринятому мнению, тенденции Запада и Востока смыкаются. И если раньше европейцу было куда отступать и, если его теснили из его рода деятельности, угрожая разорением и нищетой, он шел искать новое дело, то теперь это новое дело ищут уже люди и Запада, и Востока, вот только профессии стали технически и технологически гораздо более сложными, им надо долго, кропотливо и тщательно учиться, поэтому ввод в профессию необходимо рассчитан практически на всю оставшуюся жизнь, что и есть профессионально-именное кодирование. Там, где возникают социально значимые стандартные ситуации, там всегда есть почва, правда, уже не для семейного профессионализма, но социально определяемого. И это прекрасно освоил Восток, где прекрасно понимают значимость контакта поколений, оставившую в сторону только одно — семейственность. Хотелось бы назвать, как это принято особенно в политической литературе, экономикой знаний — высшим этапом развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики, являющейся фундаментом общества знаний или информационного общества, и в случае с США, ЕС или Японией это так и есть, однако в России и, возможно, в Китае этому мешает то, что СССР уже к середине 80-х гг. XX в. исчерпал возможности собственно развития, не создав даже индустриальной экономики, не говоря уж о постиндустриальной. Эффективные государственные институты, венчурный бизнес, высокие технологии известны пока на бумаге. Китай поворачивается быстрее, заполонив мир дешевыми товарами. Но насколько он окажется быстр в технологиях, пока неизвестно. Однако интерес к этому огромен. Насколько высок его индекс экономической свободы и гражданского общества, сказать однозначно тоже нельзя, поскольку внешне сохраняются институты несвободы.

Тем не менее сближение Запада и Востока очевидно. Такая конвергенция, однако, чревата деградацией социальности. Уже сейчас множество людей плохо владеет грамотой, спихивая это довольно-таки трудное дело на компьютер, который может проверить ошибки. История, однако, знает худшие примеры, когда общая деградация социальности «сопровождает

¹³Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе. — С. 58.

ется значительными потерями знания», а это в свою очередь ведет к «снижению стандарта мастерства, исчезновения ряда профессий. Наиболее известным примером такого опрощения является исчезновение письменности вместе с профессией писца. Для социальных единиц типа Одиссеева дома письменность была бы неоправданной роскошью»¹⁴.

Опрощение такого рода и заставило в значительной степени ввести стандарт компетенции. Основные претензии, которые традиционные общества предъявили к европейцам, касаются именно системы трансляции знания. Это, во-первых, избыточность и неэффективность процесса, когда головы подрастающего поколения начиняют знаниями, подавляющая часть которых никогда не пригодится в жизни и будет забыта в период активной деятельности, и, во-вторых, явно неквалифицированный и варварский в методологическом отношении характер процесса обучения, который затрагивает в основном голову человека, не переводя знание в практические навыки, а тем самым и не используя навыкообразующие потенции человеческого мозга, способного отправлять освоенные навыки в подкорку автоматизмов и освобождать память для новых навыков»¹⁵.

Ужас сотворения «компетенции» состоит не в этом самом сотворении, а в отторжении контактов в формах «учитель — ученик», «мастер — ученик», «профессор — студент», «ученый — аспирант». В традиционных обществах это понимают, так как видят в этом своего рода «семейную структуру», с помощью которой методом проб и ошибок обеспечивается «контакт поколений как единственно экономичный, эффективный и надежный институт трансляции»¹⁶. Так было и в средневековых университетах, поэтому надо ли говорить, что университеты сейчас распространились по всей ойкумене как этот самый надежный институт. Мы же понимаем компетенцию извращенно: как ломку навыков, не умея образовать другие, поскольку не знаем, в чем будет состоять будущая компетенция студента: при отсутствии связей с работодателями, отпускаем выпускников в белый свет, как в копеечку. Остается надеяться, что у естественников и технарей быстрее дело станет иным.

Однажды призвав варягов, мы никак не можем отступить от этого феномена «варяжкости». И хотя современные понятия «демократия», «либерализм» сейчас дискредитированы, возникло понятие неолиберализма. А это значит, что нет необходимости отказываться от этих идей, однако не мешает помнить, что население греческих полисов — оплотов демократии, едва достигало 5 000 человек, и одно это ведет к необходимости подвергнуть эти желаемые издавна состояния философско-социально-экономически-политической критике. Почему-то ведь возник такой синоним демократии, как «дерьмократия»? Вызывает подозрение живучесть этого термина: не стал ли он симулякром и уже давно? В течение 2500 лет существуют одни и те же формы правления, вряд ли отвечать современным задачам и современной ситуации. Американские Штаты в свое время изменили именование своего объединения, определив свои статусы, уставы, властные формы единства по принципу не личной власти, а признанной законодательной нормы. Я сейчас не обсуждаю, к чему это привело, но что личная власть президента там лишена характера монархической власти, это очевидно, потому что действуют факторы, существенно ее ограничивающие: независимая пресса, Конгресс, нормативность законов и их исполнение.

В Европе в начале XIV в. французский король собрал парламент и Генеральные штаты (*les états généraux*), поскольку был близок к банкротству, и ему требовались деньги. В середине XIV в. Штаты во время дряхлеющей войны с Англией, которая впоследствии получит название Столетней, заявляют, что они будут собираться сами, не дожидаясь королевской воли. После этого и вплоть до конца XVIII в. они, штаты, сословия со своими уставами, создавали

¹⁴Там же. — С. 159.

¹⁵Там же. — С. 133.

¹⁶Там же.

политико-экономическое напряжение в королевстве, постепенно выдвигая идею представительства как одну из важнейших политических идей и воспитательно-пропедевтической силы закона, которому должен подчиняться каждый человек, независимо от его происхождения. «Парадокс брадобрея», один из вариантов теоретико-множественного парадокса, приписываемого Расселу¹⁷, на деле осуществился в Англии XVII в., в 1642 г. во время суда над королем Карлом I. Карл доказывал судившему его парламенту, что как законодатель он стоит вне и над законом, а парламент в ответ формулировал такую максиму, что закону подчинен каждый, даже тот, кто его сочинил и *принял*. В России под давлением сходных с Францией обстоятельств (война, финансово-политический кризис) в начале XX в. то же пытался сделать Николай II, но личная власть в России оказалась такой властной силой, что созванную Думу своей же волей государь и разогнал. Волевое личное начало оказалось — и это действие варяжского призвания, когда люди, сами не справившись с собственными делами, *добровольно* стали подданными чужого народа, весьма длительно — перевесило волю начала представительного, что длится и по сей день.

Это волевое начало привело к тому, что Россия не сложилась в национальное государство. С момента образования ее имперская государственность была фикцией, потому что она, в отличие от всех империй, не имеющая, как все империи, своей метрополии, кроме столицы и центральных городов, сосредоточила в себе идеологическую мощь, и это лучшее доказательство силы идеологии, превалирующей над экономикой и политикой. Поэтому любое философствование (а в любой философии, поскольку она есть выражение всеобщего, есть идеология) имеет непререкаемую моделирующую силу. Модель, по самому общему определению, — некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление, представляющий упрощенную версию моделируемого объекта или явления. Это, разумеется, не указание к сиюминутному действию, хотя модель начинает работать *здесь и сейчас*, заранее предвосхищая трансформацию заложенного в ней результата. Иначе она не означала бы *способа* (от *modus* — способ) осуществления, обозначения, постановки проблемы. Акцент на формировании правоспособности, установление права собственности — это то, что можно делать постепенно с помощью образования. Потому столь насущна реформа образования, несовместимая с кощунственным его уничтожением, проводимым сейчас, в которое входили основы правоведения, конституции, логики. Эти дисциплины, кстати, входили в школьную программу в сталинские годы, и то, что они были из нее исключены, свидетельствует о признании властью камуфляжности правового обеспечения.

Как мне кажется, сейчас нужно отойти от дихотомии социализм-капитализм, потому что то, что происходит сейчас — это и не капитализм, и не социализм. Те, кто хотел построить социализм, уже построили и живут в нем. Те, кто хотел построить коммунизм, тоже его построили — красные штаты в Индии. И это не метафора. Нынешнее политическое устройство переросло рамки подобного противостояния. То, что происходит сейчас — это и не капитализм, и не социализм. Не исключено, что наше нынешнее государство вышло за стадию национального государства, что скорее здесь должны строиться области по экономическим регионам, областям.

Между тем проблемы права, не совпадающего с обязанностями, сейчас столь же и одновременно насущны, как проблемы собственности, поскольку собственности в России не было, да и ныне появившаяся все равно зависима от начальственной власти, которая отнимает ее, используя те самые камуфляжные правовые институты, то есть слова-заместители,

¹⁷Парадокс формулировался так: «Пусть К — множество всех множеств, которые не содержат себя в качестве своего элемента. Содержит ли К само себя в качестве своего элемента? Если да, то, по определению К, оно не должно быть элементом — противоречие. Если нет, то, по определению К, оно должно быть элементом К — вновь противоречие».

слова-тропы (метафоры), которые подменяют собственно право. Право (*ius*), то, что правильно, невозможно ввести приказным порядком, правообладание — длительнейший процесс, в свою очередь зависимый а), в первую очередь, от естественного обладания собственностью; б) от волеизъявления массы людей (не говорю — народа, поскольку последний превратился в население); б) от волеизъявления власть предержащих. Поскольку по природе существующей собственности, моей и только моей, в России нет (собственность всегда была «искусственно» полученной, прежде всего от государя или путем захвата), то говорить о праве нужно, понимая, что им еще нужно прорасти.

Сейчас иногда говорят, что принимаемые современной российской властью законы, установления и пр. не достигают целей, увязая в сети проволочек и не достигая масс. Я полагаю, напротив, что они прямо достигают своих целей. Главное желание власти — загасить твою собственную свободу. И мы (я) чувствуем это постоянно. Загашенная свобода и свидетельствует о том, что действительно есть власть, обладающая всеми властными полномочиями, но не правосознанием. Нужно же находить способы вселять правосознание в головы каждого человека. В каждом автобусе, на каждой станции метро, в почтовом ящике каждой квартиры должны лежать принятые законы

Я хотела бы обратить внимание на то, что любое новое право, преобразаясь в новые формы и соответственно отображая новый статус общества, в целом государства и внешне отрекаясь от старого правового закона, на деле его не уничтожает и не может уничтожить, потому что человек прорастает правом. Напомню одну коллизию, связанную с, казалось бы, давно ушедшим Средневековьем.

Римское право, основанное на коллективном, безличном, административном начале, на представлении о том, что человек от роду наделен всеми правами, в IV — VI вв. заместилось обычным правом населивших бывшую империю народов, объединенным в единства (герцогства, королевства) на духовном, личностном начале. Древние германцы полагали, что право неотъемлемо от качеств выдающейся личности. Не личность определяется правами, гарантированными государством. Наоборот, она правомочна, поскольку является именно личностью живым, неповторимым человеком. Иначе говоря, она зависит исключительно от себя, от своих внутренних качеств. Затем, в Новое время, это право, в свою очередь, было замещено правом, которое считается отчужденным от личности, законам которого подчиняется любой гражданин. Но отношение к правомочной личности фактически действует до сих пор. Власть, особенно главный ее представитель, полагает, что он может контролировать и даже верховенствовать, руководить правовым процессом даже в условиях формального признания права, формирующего до и сверх личности, нормативного права. Такое двууправие действует в современности повсеместно, после неоднократных правовых смен и утверждения универсальности права, которому подчинены все индивиды. Дело лишь в процентном отношении к этой личной правомочности. В европейских странах и Америке такого права меньше, в России при отсутствии демократического опыта и испытания правом больше. В свое время Петр Абеляр определял человека как разумное смертное живое существо, притом что в имени «разумное» содержалось значение волевого, могущего принимать решения существа¹⁸. На это его определение мало кто обратил внимание, хотя оно выражало самую суть Средневекового отношения к творению как таковому. И пока никто не отменял определения человека как наделенного правом творческой правомочной, правомощ(ч)ной личности, это представление будет действовать *практически*.

Поскольку ныне слияние большей части населения и власти с миром захватчиков-уголовников огромно, нельзя тем не менее считать попытки малой доли населения жить по пра-

¹⁸См.: Петр Абеляр. Глоссы к «Категориям» Аристотеля // Петр Абеляр. Теологические трактаты. — М.: 2011. — С. 209 — 210.

ву ненужными. Диссидентское движение, всегда казавшееся (диссидентам в том числе) не рассчитанным на удачу, все же оказалось «каплей, точащей камень» и внесло свою лепту в изменение и самой власти, и даже к ликвидации самой империи.

Говоря о реформировании отдельно взятой страны, мы сейчас вынуждены постоянно оглядываться на мир. В современном мире с отдельно взятой страной ничего нельзя сделать, даже если решиться в горах построить идеальное общество под названием «Институт хорошего дела». Этот институт вряд ли сможет длительно просуществовать отдельно от мира: мы уже связаны с сообществом, в немалой степени посредством интернета. Эту связь нельзя понимать только в том смысле, что глобальная коммуникация представляет собой деградирующий процесс. Это прежде всего вопрос скорости, технологий, быстрой связи, позволяющей объединяться индивидам, находящимся в разных точках земного шара, не ставящей преград и объединениям разных корпоративных сообществ мгновенно принимать или отменять решения, регулировать свою деятельность.

В замысле нового образования должно быть воспитание мужества, гражданской добродетели, любви к политической, если можно так сказать, правильности и политическому умению реагировать на общественные изменения. В таком случае именно важны экспертные оценки. Но при наличии не на нации ориентированного государства сами собой исключаются разного рода ксенофобские идеи.

Более того, экспертиза предполагает миноритарную власть, власть образованного меньшинства. В практике государственного строительства это практиковалось, причем в глубокой древности. Я могу привести пример из «Салического закона», где никто, например, не имел права переселиться (вселиться) куда-либо, если хотя бы один был против. Этого одного никто не выбирал, он был просто против. Чтобы убедить его или убедиться, что прав он, а не большинство, начинались беседы, или то, что сейчас называется приведением к согласию. Разумеется, речь в случае «Салического закона» шла о деревне, но и сейчас существуют досудебное разбирательство.

Процесс парадигмальной смены предполагает довольно длительный «замороженный» период, когда старое сломано, а нового еще нет. Единственной общей платформой для общаемости людей становятся деньги. Такую властную систему мы выше назвали **монето- или money-кратией**. Во время такой перестройки мышление для своего постоянного обновления не нуждается ни в памяти, ни в личности, ни в вере, обеспечивая себя теми возможностями, которые связаны с монетарностью. Выход через такой катаклизм опасен тем, что он открывает все пути, в том числе старые, на которых делаются попытки обновить и память, и веру, и патриотизм: это и есть авторитарные пути. При утрате опоры в социальности на этих путях обнаруживаются желание и возможность (через финансовый капитал, военную силу) навязать обществу решения, от которых оно уже, было, отказалось, но в силу «усталости» готово их принять, тем более что советизм, повторим, до конца не повержен, а только прикрит. Закон о запрете неправительственных организаций, которые финансировались иностранными фондами и которые были способны служить основанием гражданского общества, стал той фишкой, которая позволяет поставить вопрос, а не является ли сама российская потребность в таком обществе потребностью гоголевского Ноздрева выговориться и надолго замолчать? Ведь не случайно термин «гражданское общество» употребляется как антоним термина «военное общество» и при желании его цели можно свести к чему угодно, например, к проблемам образования.

Сейчас некоторые национальные республики в России «получили столько автономии, сколько хотели». Каким же образом гражданское общество, предположительно охватывающее всю Россию и основанное на общеевропейских принципах светских свобод, может допустить внутри себя религиозную правовую систему, скажем, шариат? Разумеется, исповедуя

свободу совести, нельзя вмешиваться в политико-религиозную жизнь людей (стран) с иным, чем у нас, вероисповеданием. Но ориентированный на европейские ценности человек оказывается при этом в состоянии парадокса. Признавая, что азиатские и кавказские регионы страны перестали пылить за ее европеизированной частью, он будет отстаивать право на их культурную самостоятельность и на независимость правовых систем, ибо он — европеец особого рода: он живет не только в многонациональном, но и в многоконфессиональном государстве. Это значит, что при провозглашенном принципах свободы и равенства он обязан признавать религиозные права и таких конфессий, где нет деления на светское и духовное, где человек сакрализует все мирское и в любом случае действует от имени своего Бога или богов. Может ли быть в таком случае сложено гражданское, нерелигиозное общество, признающее равные права мужчин и женщин и отстаивающее для них правовое единство?

Европейская система права отвергает право религии вмешиваться в светскую жизнь людей. Примером такого рода является запрет на ношение хиджаба во Франции. Священный закон может быть сильнее светского, но определяет права человека в мире не он. Недавние бунты арабской молодежи во Франции показали предел, до которого были доведены права человека, в том числе права на передвижения, эмиграцию и пр. Безграничная либерализация привела к необходимости защиты гражданских прав населения, которое признало главной для себя правовую систему, основанную на либерализме. В этом случае колеблется роль интеллигенции в становлении гражданского общества. Тем более что гражданские общества в Европе были созданы не с ее помощью (она там отсутствовала), а с помощью профессионалов-легистов и предпринимателей, которые служили не государю, а общему благу государства. При этом общему благу служил и государь. Российский же византизм, то есть зависимость всех и каждого только от личности государя в отличие от изначальной иерархической организованности европейского общества (когда вассал моего вассала — не мой вассал, даже если я — государь), это общее служение исключал. Этот подспудный византизм, давление истории на менталитет человека, двусмысленная природа закона, внешне выполняющего служебную или утилитарную роль, но внутренне подпертого тем, что со времен Платона называется врожденными идеями, обеспечивает возможность возврата к авторитарному правлению. Здесь как раз и требуется сохранение мудрого баланса между старым и новым.

Двусмысленность закона предполагает единство писаного и неписаного права, которые в зависимости от требований момента проявляют то одну, то другую сторону. При революционной смене государственного строя заметно снижается роль фиксированного свода права, а мы пережили с 80-х годов, по крайней мере, два революционных кризиса — 1989 г. и 1991 г. Требовательные призывы к установлению гражданского общества, которое стояло бы над идеологией, над партиями и осуществляло бы контроль над действиями правительства, правоохранительных органов, судопроизводства, шли от интеллигенции, которая, повторим, была своеобразным закоперщиком и государственных сдвигов. «Младшие научные сотрудники» вкупе с академиками А.Д. Сахаровым, Вяч.Вс. Ивановым и С.С. Аверинцевым и многими правоведами взялись за дело, засучив рукава, но сути дела не знал никто. «Опыт словаря нового мышления» показал способы его формирования. Одни авторы «Словаря» полагали, что перекапывать надо «все до основания», другие оглядывались на преступную правящую КПСС, третьи надеялись на идейную помощь Запада (в «Словаре» представлены два взгляда на зарождающуюся российскую демократию — российских и западных политологов). Публикацию такого опытного словаря можно было бы назвать началом формирования гражданского общества, если бы слова сопровождались конкретными и не запоздалыми делами. Новая мысль требовала определения собственности, установления отношения к ней и ее правообеспеченности. Но именно понятие собственности не было продумано ни философски, ни юридически, ни экономически или политически, поскольку прежние —

коммунистические — принципы предполагали полную отмену собственности. В этих терминах мы не расценивали свою жизнь. Поэтому правом не были обеспечены ни личная собственность (выражение «собственник» имело негативный смысл), ни общенародная, прежде всего земельная. У власти в конце 80-х оказались «хорошие люди» (термин тех лет), но оказались растерянными перед этой проблемой.

Не было и того, что в средневековые времена называлось достоинством земли, предполагавшим, что земля становилась графством, маркизатом или крестьянским мансом не оттого, что ею владел граф, маркиз или крестьянин, а наоборот — достоинства/недостатки земли позволяли владельца называть графом, маркизом, дворянином, которому не возбраняется держать и крестьянскую землю, платя налог, соответствующий качеству этой земли.

В России же земля всегда была «бесправна», и это стало выгодно современным «захватчикам-практикам»: они осуществили быстрый захват разбросанных, никому не принадлежащих и не оцененных земель и недр в свои руки. Возможность захвата была обнаружена, но не осознана, отчего произошел разлад между активностью делателей и пассивностью думающих. В.В. Бибихин, который, может быть, одним из первых всерьез обдумывал этот разлад, писал, что современный захват мира, приватизация — прямое продолжение девяностолетия (или еще дольше) обобществленной собственности в России. В этот захвате он сумел разглядеть самое «стихию человеческого существа», включающую в себя юридический беспредел, упреждая ситуацию, при которой захват как удивление перед миром, если не осмыслить его именно как удивление, то есть не осмыслить философски, может превратиться в грабеж¹⁹. Другой философ, М.К. Петров, еще раньше В.В. Бибихина показал связь такой философии с хитроумным Одиссеем, умевшим обойти рифы разбоя и привязывавшим себя к мачте корабля, слыша пение сирен, но не бросаясь, очертя голову, на их призыв. Оба философа обратили внимание на то, что в определение мудрости входит безупречная техническая точность, обнаруженная Аристотелем в деятельности камнерезов и скульпторов (Никомахова этика, VI 7 1141a 9). Беспредел, а теперь и прямая насмешка над обществом возникает там, где «видение» не превращается в сознательное «ведение». Поскольку беспредел «концептуально не уловим», то «юридическому сознанию кажется», что собственник *готов* к обладанию собственностью, а на деле готов только к ее *сохранению* любыми средствами, поскольку эти проблемы возникают вследствие раннего и незаметного «перевертывания всякого увиденного *есть* в смысле имеется в *есть* в смысле у меня имеется»²⁰.

Вопрос именно в том, у *какого меня* есть эта собственность, ибо на роль «я» может претендовать и частное лицо, делающее многократные попытки юридически ее оформить, и государство, пользующееся тем, что юридическая практика *не готова* к такому оформлению: скачок от бессобственного состояния к собственному остался за пределами кодифицированного права. Владение частной собственностью в России у всех под вопросом и может быть, как видно из многих нынешних так называемых экономических дел, только временным. Более того, не схвачена двусмысленность понятия собственности как 1) записи имущества на юридическое лицо и как 2) этимологического обозначения «своего», связанного с поиском себя. «Мы ничему не принадлежим так, как своему, — пишет В.В. Бибихин. — Мы заняты своим делом, живем своим умом и знаем свое время. *Свое* определяет владение в другом смысле, чем нотариально заверенное имущество... Русская *свобода* происходит от *своего* не в смысле собственности *моей*, а в смысле собственности *меня*», и это «собственно свое непознаваемо... попытки вычислить, сформулировать уводят от него»²¹. Однако сама эта непознаваемость обеспечивает свободу собственности. «Вещь принадлежит тому, кто ей возвра-

¹⁹См.: Бибихин В.В. Своё, собственное // Бибихин В.В. Другое начало. — М.: 2003. — С. 364 — 365.

²⁰Там же. — С. 365.

²¹Там же. — С. 370 — 371.

щает ее саму, обращается с ней по ее истине»²², а не на основании того, что она может мне дать или что я могу от нее получить. Такой узкий подход к делу в России, не создавшей своей теории собственности и прежде оглядывавшейся на Маркса, может сделать неудачными любые юридические попытки ее отстоять, если прежде не будет допытана сама истина вещи, которая включает и ее свободу от меня. В некоем «важном смысле» крепостной крестьянин в царской России был, на взгляд В.В. Бибихина, владельцем полнее и свободнее, чем помещик²³, потому что именно крестьянин, а не помещик сидел на земле и был с нею заодно.

Гражданское общество потому так и необходимо, что, не следуя политическим и владельческим указкам, ставит интерес отдельного человека на первое и главное место. Проблема именно в том, кто и что может дать стимул рождению такого общества. Провал первой постсоветской попытки, осуществленной интеллигенцией, позволяет критически рассматривать возможность ее приоритетного участия в его создании, тем более что, вопреки своему имени, интеллигенция склонна к мистицизму. То, что на Западе обсуждалось бы как научная гипотеза, в России вполне может быть принято за истину в последней инстанции. Так было с конца XIX в., когда союз ума, воли и дела заместился субъективными устремлениями отдельных исторических личностей. Правда, земство и такая политическая сила как либеральная интеллигенция, прежде всего партии октябристов и кадетов пытались всерьез провести либерализацию страны, установление парламентаризма, введение частной собственности на землю, регистрацию обществ и собраний, подчинение бюрократии общественному контролю, но это многими рассматривалось не как самоценная необходимость, а как вина перед попранными правами народа, не позволившая нецивилизованной России решить цивилизационные проблемы. Однако, как поражение революции 1905 г., так и победа ее в 1991 г. привели к тому, что интеллигенция как нечто ответственное за итоги своей деятельности практически исчезла. И в 1905 г., и тем более в 1991 г. она скорее обозначила *конец* своей миссии, а не канун, хотя лишь «накануне» у интеллигента происходит *концентрация всех сфер духовной деятельности, при которой одновременно взвинчиваются и нравственные усилия*. Потом начинается вырождение. Тогда был крен в сторону интеллигентного пролетариата (как считал С.С. Ольденбург), а сейчас — в сторону любого профессионально действующего специалиста или бомжа, поскольку отпадает необходимость в постоянном участии в той политической деятельности, которую можно было бы считать не следствием пиара, а нравственной работой. Интеллигенция представляла силу только в моменты рассогласованности реального дела и реального слова. Для народа такая интеллигенция была «не грабителями... даже не просто чужими как турок или француз, — писал русский европеец М.О. Гершензон, — он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно»²⁴. Это напоминает резко негативное отношение того же народа к какому-нибудь правительственному деятелю, пока тот не проявит качеств *профессионала* и *специалиста*.

В гражданском обществе исходное право — это право суверенного индивида. Можно сказать: я сам себе суверенное государство, как сказал о себе А.А. Зиновьев, при признании прав других столь же суверенных индивидов и противопоставить себя угнетающему властному государству. Впрочем, если мы говорим о моделях, то моделью при высокоразвитом технологическом, основанном на экономии знаний обществе и может стать я-государство или человек-государство, *manstate*, существующий в общественном договоре с другими.

²²Там же. — С. 378.

²³Бибихин В.В. Введение в философию права. — М.: 2006. — С. 45.

²⁴Гершензон М.О. Творческое самосознание // Вехи. — М.: 1990. — С. 74—75, 91, 92.